Последний день лета догорал на кончике папиросы, дрожавшей в руке Григория Палыча. Он бросил окурок на землю, помолчал и тут же закурил новую.

— Вот ты говоришь — нельзя так. А как же с ними? Вона они какие стали. Старших не слушают совсем. Давеча приехали — папка, дай денег! Ну это младший. Старший вообще со мной не разговаривает! А где я ему денег возьму — нету их, денег-то.

— Что так?

— Ну как: быка еще не колол, да и если бы колол. Бычок-то у меня какой, а! Первый кавалер! Жалко, да, видать, придется. В октябре скажу Мартику спасибо за службу! Нет, а младшой-то! Сказал бы: здравствуй, папка, как ты тут живешь? Здоровье-то как? А мы вот — живем-де, хорошо! А он — папка, денег! Откуда, сынок?!

Старик горько затянулся и замолчал.

— Что старший?

— А учудил! Он же теперь у нас самостоятельный, итить… Жену свою ведь бросил — аккурат еще страда началась. Ребятишки прошлым летом вместе с Настькой приезжали, ведь помнишь.

— Помню.

— А нынче поворот такой. Я ему — что же ты, Димка, зачем ты? Она ведь девка ладная, обходительная. Неужто наскучила так скоро? Бл...ей-то, прости мою душу грешную, вона сколько их! А Настька у тебя и умом, что называется, и сердцем, и лицо не как у этих… не абстрактное! А он мне — да дура она, папка. А я ему — это ты, Дима, дурак. Даром тебе такая жена досталась, и ребятишки правильные, а ты — дурак. Он на меня обиделся и трубку положил, мол, не ты мне указ, батя. Я уже не стал ему после звонить — да и дорого до города. А на портативные — еще дороже теперь стало звонить. А младший же хотел мне свой старый портативный оставить. Да на кой черт он мне? Кому звонить-то? Мартику, что ли, на луг? Дак он там, поди, с коровами, некогда ему!

Григорий Палыч хрипло рассмеялся своей шутке, потом надолго зашелся вязким грудным кашлем. Папироска потухла, когда он уронил ее в мокрую траву.

— Почему кашляешь?

— Да это я… Солярка вона какая стала. Не подступишься. Мужики — никто трактора нынче не гоняет. А страда идет. У меня сосед, мужик хороший — Ванька Гладких, да ты его знаешь!

— Знаю.

— Я к нему — сынок, мол, выручи деда, сено бы надо сгрести. Да тут недалеко, сразу за согрой! Он — не вопрос, папаша! А хитрый — с тебя, говорит, молоко кажный день до ноября, банка три литра. Я аж присел. Но — куда деваться-то? Правда, он молодец — парней каких-то позвал, мы с ними за два дня все сено сгребли и вывезли. Да с погодой не повезло — нахлестал нас дождь на второй день. Мы быстрей-быстрей, насилу успели! Мы до полуночи с этим сеном. А холодно еще. Вот меня с того дня и прихватило, видно. А все же, Ванька молодец! Такой парень спорый. У нас-то — некому…

Старик с чувством сплюнул, потом закашлялся и зажег новую папиросу.

— Ты курить бы бросил.

Старик махнул рукой и надолго замолчал. Только затягивался, прищуривал уставшие глаза и выпускал струйки серого дыма, которые, поднимаясь, растворялись в темных кронах старых тополей.

— Что курить… — проворчал он, наконец, — мне оно не мешает, бросать-то. Тут давеча приключилось вот… не хотел говорить. Я же почему свой грузовик не выгонял? В июне поехал, как сейчас помню, в Троицкое. Бабку-то из напротив дома помнишь? Заплохело ей, сестра ее прибежала, плачет: вези, говорит, Палыч, в больницу. А то не ровен час помрет Егоровна. Что делать — повез. На одно сиденье уместились. Егоровна ёк — она так глаза и не открывала. Ну и вот. Отвез я их, в больнице оставил. Обратно еду — а темнота. Встречных почти нет. Слышу — кто-то слева сигналит. «москвичонок» вроде, ну я вышел. А там — трое парней сидят. Ничего вроде такие, приличные с вида, — не из нашей, видать, деревни. Двое вышли: папаша, говорят, а как до Троицкого проехать, где свернуть надо? Я им — ребятки, я как раз оттуда еду. Так что вертайте, проехали вы его уже. Там указатель своротили недавно. Я им, значит, говорю, где свернуть — а они…

Григорий Палыч осекся, рука с папиросой задрожала. Он опять зашелся в кашле. Затем продолжил:

— А они — раз, дверь мою открыли, меня за рукава, один за грудь — так из кабины и вывалили. Прыгнули в мою «ласточку» и укатили — один на моей, двое на «москвичонке». Я было побежал — да куда там, дед старый. Так теперь дед еще и без машины.

— Милиция что сказала?

— Да что милиция. Что они скажут? Искали, дед, мы твою развалину — да, видать, не нашего району шурики-то те были. Укатили они далеко. Мы, говорят, конечно, объявим нашим сотрудникам по краю, но, говорят, советуем, дед, лучше теперь телегу чинить да лошадь запрягать. А где же мне на лошади, километраж не тот. И лошади уже как пять лет нету. Где же я ее? А телегу сейчас где? Да нет, не надо оно мне. Значит, я такой уж, видать, и не нужна мне была моя «ласточка», вот ее и забрали. Так что дед теперь без машины, не смогу часто приезжать-то.

— Да ничего, понимаю.

— Ну а ты тут как? Я что-то все про себя. Как ты тут?

— Хорошо. Помаленьку, потихоньку.

— Это хорошо… Хорошо, что хорошо.

Старик снова замолчал. Подул не по-летнему жесткий ветер, и в уголках его глаз как будто заблестели слезинки. Он резко провел рукой по глазам и поднялся.

— Ладно, пошел дед. Ты тут давай, не скучай! Скоро и я к тебе, на постоянное подселение! Если зима будет холодная… — он снова усмехнулся.

Еще целых пять минут Григорий Палыч ходил вокруг, поправлял оградку, выравнивал крест; то тут, то там вырывал сорняки. Наконец, выпрямился. Докурив папироску, он бросил окурок на землю и не торопясь втоптал в сырую от дождя траву.

Потом развернулся и не оглядываясь зашагал в сторону деревни.